красная книга русской прозы

Евгений Замятин

Мы

роман, повести, рассказы



Автобиография
Евгений Иванович Замятин

Аннотация
Евгений Замятин. Автобиография

Аннотация

«…Думаю, что если бы в 1917 году не вернулся из Англии, если бы все эти годы не прожил вместе с Россией – больше не мог бы писать. Видел много: в Петербурге, в Москве, в захолустье – Тамбовском, в деревне – Вологодской, Псковской, в теплушках.

Так замкнулся круг. Еще не знаю, не вижу, какие кривые в моей жизни дальше…»

Евгений Замятин
Автобиография

Как дыры, прорезанные в темной, плотно задернутой занавеси — несколько отдельных секунд из очень раннего детства.

Столовая, накрытый клеенкой стол, и на столе блюдо с чем-то странным, белым, сверкающим, и — чудо! — это белое вдруг исчезает на глазах неизвестно куда. В блюде — кусок еще незнакомой, некомнатной, внешней вселенной: в блюде принесли показать мне снег, и этот удивительный снег — до сих пор.

В этой же столовой. Кто-то держит меня на руках перед окном, за окном — сквозь деревья красный шар солнца, все темнеет, я чувствую: конец, — и страшнее всего, что откуда-то еще не вернулась мать. Потом я узнал, что «кто-то» моя бабушка и что в эту секунду я был на волос от смерти: мне было года полтора.

Позже: мне года два-три. Первый раз — люди, множество, толпа. Это — в Задонске: отец и мать поехали туда на шарабане и взяли меня с собой. Церковь, голубой дым, пение, огни, по-собачьи

лает кликуша, комок в горле. Вот кончилось, прут, меня — щепочку — несет с толпой наружу, вот я уже один в толпе: отца с матерью нет, и их больше никогда не будет, я навсегда один. Сижу на какой-то могиле; солнце, горько плачу. Целый час я жил в мире один.

В Воронеже. Река, необычно странный мне ящик купальни, и в ящике (я потом вспомнил это, когда видел в бассейнах белых медведей) плещется огромное, розовое, тучное выпуклое женское тело — тетка моей матери. Мне любопытно и чуть жутковато: я в первый раз понимаю, что это женщина.

Я жду у окна, гляжу на пустую, с купающимися в пыли курами, улицу. И наконец, едет наш тарантас: везут из гимназии отца, он — на нелепо высоком сиденье, с тростью, поставленной между колен. Я жду с замиранием сердца обеда — за обедом торжественно разворачиваю газету и читаю вслух огромные буквы: «Сын Отечества». Я уже знаю эту таинственную вещь — буквы. Мне года четыре.

Лето. Пахнет лекарствами. Вдруг мать и тетки торопливо захлопывают окна, запирают балкон, и я смотрю, приплюснувшись носом к балконному стеклу: в е з у т! Кучер в белом халате, телега,

покрытая белым полотном, под полотном — люди, скорченные, шевелящиеся руки и ноги: х о л е р н ы е. Холерный барак на нашей улице, рядом с нашим домом. Сердце колотится, я знаю, что такое смерть. Мне лет пять-шесть.

И наконец: легкое, стеклянное, августовское утро, далекий прозрачный звон в монастыре. Я иду мимо палисадника перед нашим домом и не глядя знаю: окно открыто и на меня смотрят — мать, бабушка, сестра. Потому что я в первый раз облачился в длинные — «на улицу» — брюки, в форменную гимназическую куртку, за спиною ранец: я в первый раз иду в гимназию. Навстречу трясется на своей бочке водовоз Измашка и несколько раз оглядывается на меня. Я — горд. Я — большой: мне перевалило за восемь.

Все это — среди тамбовских полей, в славной шулерами, цыганами, конскими ярмарками и крепчайшим русским языком Лебедяни — той самой, о какой писали Толстой и Тургенев. А годы: 1884–1893.

* * *

Дальше — серая, как гимназическое сукно, гимназия. Изредка в сером — чудесный красный флаг. Красный флаг вывешивался на пожарной

каланче и символизировал тогда отнюдь не социальную революцию, а мороз в 20°. Впрочем, это и была однодневная революция в скучной, разграфленной гимназической жизни.

Скептический диогеновский фонарь — в 12 лет. Фонарь был зажжен одним здоровым второклассником и — синий, лиловый, красный — горел у меня под левым глазом целых две недели. Я молился о чуде — о том, чтобы фонарь потух. Чудо не свершилось. Я задумался.

Много одиночества, много книг, очень рано — Достоевский. До сих пор помню дрожь и пылающие свои щеки — от «Неточки Незвановой». Достоевский долго оставался — старший и страшный даже; другом был Гоголь (и гораздо позже — Анатоль Франс).

С 1896 года — гимназия в Воронеже. Специальность моя, о которой все знали: «сочинения» по русскому языку. Специальность, о которой никто не знал: всевозможные опыты над собой — чтобы «закалить» себя.

Помню: классе в 7-м, весной, меня укусила бешеная собака. Взял какой-то лечебник, прочитал, что первый, обычный срок, когда появляются признаки бешенства — две недели. И решил выждать этот срок: сбешусь или нет? — чтобы

испытать судьбу и себя. Все эти две недели — дневник (единственный в жизни). Через две недели — не сбесился. Пошел, заявил начальству, тотчас же отправили в Москву — делать пастеровские прививки. Опыт мой кончился благополучно. Позже, лет через десять, в белые петербургские ночи, когда сбесился от любви — проделал над собой опыт посерьезнее, но едва ли умнее.

Из гимназического серого сукна вылез в 1902 году. Золотая медаль за 25 рублей была заложена в петербургском ломбарде — и там осталась.

Помню: последний день, кабинет инспектора (по гимназической табели о рангах — «кобылы»), очки на лбу, подтягивает брюки (брюки у него всегда соскакивали) и подает мне какую-то брошюру. Читаю авторскую надпись: «Моей almae matri, о которой не могу вспомнить ничего, кроме плохого. П. Е. Щеголев». И инспектор — наставительно, в нос, на о: «Хорошо? Вот тоже кончил у нас с медалью, а что пишет! Вот и в тюрьму попал. Мой совет: не пишите, не идите по этому пути». Наставление не помогло.

* * *

Петербург начала 900-х годов — Петербург Комиссаржевской, Леонида Андреева, Витте, Плеве,

рысаков в синих сетках, дребезжащих конок с империалами, студентов мундирно-шпажных и студентов в синих косоворотках. Я — студент-политехник косовороточной категории.

В зимнее белое воскресенье на Невском — черно от медленных, чего-то выжидающих толп. Дирижирует Невским — Думская каланча, с дирижера все не спускают глаз. И когда подан знак — один удар, час дня — на проспекте во все стороны черные человеческие брызги, куски марсельезы, красных знамен, казаки, дворники, городовые… Первая (для меня) демонстрация — 1903 год. И чем ближе к девятьсот пятому — кипенье все лихорадочней, сходки все шумнее.

Летом — практика на заводах, Россия, прибаутливые, веселые третьеклассные вагоны, Севастополь, Нижний, Камские заводы, Одесса, порт, босяки.

Лето 1905 года — особенно синее, пестрое, тугое, доверху набитое людьми и происшествиями. Я — практикантом на пароходе «Россия», плавающем от Одессы до Александрии. Константинополь, мечети, дервиши, базары, беломраморная набережная Смирны, бедуины Бейрута, белый Яффский прибой, черно-зеленый Афон, чумный Порт-Саид, желто-белая Африка, Александрия — с

английскими полисменами, продавцами крокодиловых чучел, знаменитый Тартуш. Особенный, отдельный от всего, изумительный Иерусалим, где я с неделю жил в семье знакомого араба.

А по возвращении в Одессу — эпопея бунта на «Потемкине». С машинистом «России» — смытый, затопленный, опьяненный толпой — бродил в порту весь день и всю ночь, среди выстрелов, пожаров, погромов.

В те годы быть большевиком — значило идти по линии наибольшего сопротивления; и я был тогда большевиком. Была осень 1905 года, забастовки, черный Невский, прорезанный прожектором с Адмиралтейства, 17-е октября, митинги в высших учебных заведениях…

Однажды в декабре вечером в мою комнату на Ломанском переулке пришел приятель, рабочий, крылоухий Николай В. — с бумажным мешком от филипповских булок, в мешке — пироксилин. «Оставлю-ка я тебе мешочек, а то за мной по пятам шпики ходят». — «Что ж, оставь». И сейчас еще вижу этот мешок: слева, на подоконнике, рядом с кулечком сахару и колбасой.

На другой день — в «штабе» Выборгского района, в тот самый момент, когда на столе были разложены планы, парабеллумы, маузеры, вело-

доги — полиция: в мышеловке человек тридцать. А в моей комнате слева, на подоконнике — мешок от филипповских булок, под кроватью — листки.

Когда, обысканные и избитые, мы разделены были по группам, я — вместе с другими четырьмя — оказался у окна. У фонаря под окном увидел знакомые лица, улучил момент и в фортку выбросил записочку, чтобы у этих четырех и у меня убрали из комнат все неподобающее. Это было сделано. Но о том я узнал позже, а пока — несколько месяцев в одиночке на Шпалерной мне снился мешочек от филипповских булок — налево, на подоконнике.

В одиночке — был влюблен, изучал стенографию, английский язык и писал стихи (это неизбежно). Весною девятьсот шестого года освободили и выслали на родину.

Лебедянскую тишину, колокола, палисадники — выдержал недолго: уже летом — без прописки в Петербурге, потом в Гельсингфорсе. Комната на Эрдхольмс-гатан, под окнами — море, скалы. По вечерам, когда чуть видны лица — митинги на сером граните. Ночью — не видно лиц, теплый черный камень кажется мягким, — оттого что рядом о н а, и легки, нежны лучи свеаборгских прожекторов.

Однажды в купальне голый товарищ знакомит с голым пузатеньким человечком: пузатенький человечек оказывается знаменитым капитаном красной гвардии — Коком. Еще несколько дней — и красная гвардия под ружьем, на горизонте чуть видные черточки кронштадтской эскадры, фонтаны от взрывающихся в воде двенадцатидюймовок, слабеющее буханье свеаборгских орудий. И я — переодетый, выбритый, в каком-то пенсне — возвращаюсь в Петербург.

Парламент в государстве; маленькие государства в государстве — высшие учебные заведения, и в них свои парламенты: Советы старост. Борьба партий, предвыборная агитация, афиши, памфлеты, речи, урны. Я был членом — одно время председателем — Совета старост.

Повестка: явиться в участок. В участке — зеленый листок: о розыске «студента университета Евгения Иванова Замятина», на предмет высылки из Петербурга. Честно заявляю, что в университете никогда не был и что в листке — очевидно ошибка. Помню нос у пристава — крючком, знаком вопроса: «Гм… Придется навести справки». Тем временем я переселяюсь в другой район: там через полгода — снова повестка, зеленый листок, «студент университета», знак вопроса, и справ-

ки. Так — пять лет, до 1911 года, когда, наконец, ошибка в зеленом листке была исправлена и меня выдворили из Петербурга.

* * *

В 1908 году кончил Политехнический институт по кораблестроительному факультету, был оставлен при кафедре корабельной архитектуры (с 1911 года — преподавателем по этому предмету). Одновременно с листами проекта башеннопалубного судна — на столе у меня лежали листки моего первого рассказа. Отправил его в «Образование», которое редактировал Острогорский; беллетристикой ведал Арцыбашев. Осенью 1908 года рассказ в «Образовании» был напечатан. Когда я встречаюсь сейчас с людьми, которые читали этот рассказ, мне так же неловко, как при встречах с одной моей тетушкой, у которой я, двухлетний, однажды публично промочил платье.

Три следующих года — корабли, корабельная архитектура, логарифмическая линейка, чертежи, постройки, специальные статьи в журналах «Теплоход», «Русское Судоходство», «Известия Политехнического Института». Много связанных с работой поездок по России: Волга вплоть до

Царицына, Астрахани, Кама, Донецкий район, Каспийское море, Архангельск, Мурман, Кавказ, Крым.

В эти же годы, среди чертежей и цифр — несколько рассказов. В печать их не отдавал: в каждом мне еще чувствовалось какое-то «не то». «То» нашлось в 1911 году. В этом году были удивительные белые ночи, было много очень белого и очень темного. И в этом году — высылка, тяжелая болезнь, нервы перетерлись, оборвались. Жил сначала на пустой даче в Сестрорецке, потом, зимою, — в Лахте. Здесь — в снегу, одиночестве, тишине — «Уездное». После «Уездного» — сближение с группой «Заветов», Ремизовым, Пришвиным, Ивановым-Разумником.

В 1913 году (трехсотлетие Романовых) — получил право жить в Петербурге. Теперь из Петербурга выслали врачи. Уехал в Николаев, построил там несколько землечерпалок, несколько рассказов и повесть «На куличках». По напечатании ее в «Заветах» — книга журнала была конфискована цензурой, редакция и автор привлечены к суду. Судили незадолго до февральской революции: оправдали.

Зима 1915–1916 года — опять какая-то метельная, буйная — кончается дуэльным вызовом в

январе, а в марте — отъездом в Англию.

До этого на Западе был только в Германии. Берлин показался конденсированным, 80 &-ным Петербургом. В Англии другое: в Англии все было так же ново и странно, как когда-то в Александрии, в Иерусалиме.

Здесь — сперва железо, машины, чертежи: строил ледоколы в Глазго, Нью-Кастле, Сэндэрланде, Саус-Шилдсе (между прочим, один из наших самых крупных ледоколов — «Ленин»). Немцы сыпали сверху бомбы с цеппелинов и аэропланов. Я писал «Островитян».

Когда в газетах запестрели жирные буквы: «Revolution in Russia», «Abdication of Russian Tzar» — в Англии стало невмочь, и в сентябре 1917 года, на стареньком английском пароходишке (не жалко, если потопят немцы) я вернулся в Россию. Шли до Бергена долго, часов пятьдесят, с потушенными огнями, в спасательных поясах, шлюпки наготове.

Веселая, жуткая зима 1917–1918 года, когда все сдвинулось, поплыло куда-то в неизвестность. Корабли-дома, выстрелы, обыски, ночные дежурства, домовые клубы. Позже — бестрамвайные улицы, длинные вереницы людей с мешками, десятки верст в день, буржуйка, селедки, смоло-

тый на кофейной мельнице овес. И рядом с овсом — всяческие всемирные затеи: издать всех классиков всех времен и всех народов, объединить всех деятелей всех искусств, дать на театре всю историю всего мира. Тут уж было не до чертежей — практическая техника засохла и отломилась от меня, как желтый лист (от техники осталось только преподавание в Политехническом институте). И одновременно: чтение курса новейшей русской литературы в Педагогическом институте имени Герцена (1920–1921), курс техники художественной прозы в Студии Дома искусств, работа в Редакционной коллегии «Всемирной Литературы», в Правлении Всероссийского союза писателей, в Комитете Дома литераторов, в Совете Дома искусств, в Секции Исторических картин ПТО, в издательстве Гржебина, «Алконост», «Петрополис», «Мысль», редактирование журналов «Дом Искусств», «Современный Запад», «Русский Современник». Писал в эти годы сравнительно мало; из крупных вещей — роман «Мы», в 1925 году вышедший по-английски, потом — в переводе на другие языки; по-русски этот роман еще не печатался.

В 1925 году — измена литературе: театр, пьесы «Блоха» и «Общество Почетных Звонарей». «Бло-

ха» была показана в первый раз в МХАТе 2-м в феврале 1925 года, «Общество Почетных Звонарей» — в Михайловском театре в Ленинграде в ноябре 1925 года. Новая пьеса — трагедия «Аттила» — закончена в 1928 году. В «Аттиле» — дошел до стихов. Дальше идти некуда, возвращаюсь к роману, к рассказам.

Думаю, что если бы в 1917 году не вернулся из Англии, если бы все эти годы не прожил вместе с Россией — больше не мог бы писать. Видел много: в Петербурге, в Москве, в захолустье — Тамбовском, в деревне — Вологодской, Псковской, в теплушках.

Так замкнуся круг. Еще не знаю, не вижу, какие кривые в моей жизни дальше.

[1928]